

Игорь Шестков "Белесая мгла"

БЕЛЕСАЯ МГЛА

Сидел на наскоро сколоченной кухне в этом дурацком маяке, писал письмо знакомому, щурясь и моргая из-за ярких студийных ламп:

... Немецкая жизнь – это прежде всего чудовищная зашоренность и пошлость. Постепенная сдача всех позиций. Отказ от мечты. Превращение в колесико или винтик. В шестеренку. Отступление и отупение. Капитуляция советского космизма неандертальцев. Железобетонный разврат. Под горячей юбкой тети Эльзы. Прогулки внутри паровой машины. Ползание по терке. И эту терку приходится еще и хвалить! Не будешь хвалить – получишь: Зачем же вы тут живете, если вам у нас не нравится?

Как будто у нас есть выбор. Ведь мы – агасферы, дети покойной матери. Родившиеся после ее смерти. И настоящая наша родина – не послесталинская Москва. Нет, наша родина на небесах. На далекой звезде Венере... Когда все попробовал, когда жизнь внутри тевтонского асфальтоукладчика опротивела, захотел убежать, спрятаться в «литературу», островок в океане. Попробовал. Не вышло. Не только потому, что писать – это вскрывать себе грудную клетку.

Понимаешь, я давно перестал ценить мысль теоретическую. Как бы она ни блестела. Ни пронизывала. Мысль без чувственного содержания, без практического продолжения, без воздействия на тело говорящего... на его судьбу... останется вектором, контуром, в лучшем случае – чертежом. Моя эмиграция и была такой мыслью... и не только моя, наша. Мы ведь не ради комфорта сюда приехали, а ради свободы. В результате получили и то и другое. Но тутошний комфорт и здешняя свобода вовсе не похожи на то, о чем мы мечтали. Все вверх ногами.

И моя литература это тоже только вектор, уносящий меня подальше от лагеря... на тот самый остров. И я долго бродил, потирая зудящий шрам на груди, по его пляжам и тропическим садам... наслаждался его причудливой, ни на что не похожей природой и экзотами-обитателями... а теперь... по тем же причинам, по

которым мой остров возник из ничего, он начал изменяться, преображаться... и становиться все более похожим на Марцан. И обитатели его все чаще говорят не на чудесном матерном эсперанто, языке моего детства, а на берлинском диалекте немецкого.

Режиссер сказал: Дайте Марцан. Панельные дома. Перспективу. Так. И несколько морд... Морды покажите! Чтобы зритель понял, о чем речь.

Предупреждали меня знатоки. Не поверил. Думал, не могут люди быть такими узкоплечными... вроде и не живыми... деревянными или пластиковыми... да еще и самодовольными как индюки... когда им открыты все сокровища земные и небесные. Могут. Еще как могут. И за высшую честь почитают.

Нет, не подумай чего, я бы уехал даже если бы знал все наперед... не в Совке же было оставаться! А теперь... не возвращаться же в путинскую скотобойню!

...

И вот... как раз тогда, когда я, похохатывая, отщелкивал на клавиатуре восклицательный знак... в эту рутинную и ничем не примечательную секундочку обычного эмигрантского брюзжания... я увидел привидение. В двух шагах от меня, в гостиной.

Босую женщину в шелковом спальном костюме. Невероятно привлекательную. На кого-то очень похожую. Она застенчиво переступала с ноги на ногу и поводила кокетливо изящной головкой. Поправляла тяжелые браслеты из белого нефрита на смуглых руках. Вот так сюрприз!

На кого же она так похожа?

Догадался! На актрису Стефан Одран. Молодую, времен «Неверной жены» Клода Шаброля, ее тогдашнего мужа. Холодная такая красавица с тоненькими пальчиками и узкими породистыми бедрами. Изменяла мужу с любовником. А муж детектива нанял и правду узнал. Пришел к любовнику, поговорил с ним, посмотрел на неубранную постель, распалился и... хрясть любовника по башке тупым тяжелым предметом. Головой Нефертити. Следы замел, труп в болото бросил. Постарался. Но полиция все равно его вычислила и на глазах у жены арестовала. Драма.

Стефан Одран в моем логове?

Да, привлекательная... но не живая... не от мира сего.

Она напоминала изображение на экране или голограмму. Переливалась как ёлка в гирляндах... С пальцев ее падали на пол синие искорки.

От моего изумленного взгляда она дернулась... как рабыня от удара бича...

Как будто я застал ее за чем-то постыдным. Лягушачьи ее глаза сверкнули как серые агаты. Короткие каштановые волосы взвились... и засыпали мой паркет золотинками.

Может, таким, как она, нельзя тут показываться?

Или я ее испугал?

Дернулась и исчезла. Зашла за невидимую ширму.

Но успела таки в самый последний момент бросить на меня взгляд Медузы Горгоны. Как ледяной водой окатила.

Я, как и было написано в старом сценарии, превратился в колонну из малахита.

Но быстро вернулся в себя. Неизвестная сила вытянула меня из вязкой холодной сердцевины камня назад – в человеческую плоть. Может, это она... исправила так ошибку... Или режиссер спас положение. Фильм-то нужно было дальше снимать. Отрабатывать бюджет.

Я встал (стул завизжал так громко, что звукооператор руками замахал), прошел в гостиную, посмотрел туда-сюда. Никого. Понюхал. Какой-то легкий аромат висел в воздухе. Флоксы! В январе?

Не понимая, что делаю, обратился к исчезнувшему призраку: Госпожа Одран, вернитесь! Не оставляйте меня тут одного. Мне так осточертел этот мир, возьмите меня с собой! Готов стать браслетом на вашей изящной ручке!

Ответа, разумеется, не последовало. Но осветители засмеялись. А режиссер нахмурился.

Проверил, нет ли кого в прихожей, спальне, кабинете...

Заглянул и в ванную комнату. Огромное зеркало не отразило ничего подозрительного. Заметил в своих глазах выражение растерянности. А кожа на лице и на руках сохранила что-то от малахита. Неровную зелень кругами. Надо будет визажистке шею намылить.

Дописал и отправил письмо, нацепил плащ, подбитый мехом шиншиллы, и вышел погулять по свежему, искрящемуся снежку, редкому в постапокалиптическом Берлине явлению. Тут скорее лягушки будут падать с

неба, чем снег.

Миновал несколько близлежащих улиц. Кивнул знакомому дому с аркой (в нем когда-то жила жена Михаила Чехова) и пивному ларьку, вокруг которого толпились местные алконавты. Пересек под мостом линию эс-бана. Углубился в парк. Нашел в нем любимую липовую аллею. И зашагал по ней... пробежался... попрыгал... как астронавт на Луне.

Дышалось легко. Деревья уютно поскрипывали. Где-то трещал дятел. То и дело по воздуху проносилось что-то желтое – это большие синицы перелетали с дерева на дерево в поисках корма. По земле деловито ходили важные скворцы. Из дупла на четырехсотлетнем дубе мрачно выглядывала сова. Три огромные вороны клевали дохлого кролика. Убежавший из зоопарка белый медведь гонялся за длинноногими фламинго.

Терка? Ну да, но не без известного шарма.

Красивая, уютная, но радикально спятившая страна. Во что она превратится через пятьдесят лет? В северную Сирию? В западную Турцию? В новый Аушвиц? Или всемирное оледенение охладит пыл грядущих поколений?

Режиссер опять нахмурился и многозначительно показал на страницу сценарной книги. Его палец уткнулся в название очередного эпизода – «Ретроспекция со слезой».

Я повиновался и попытался вспомнить то время, когда впервые увидел «Неверную жену».

Когда же это было? Я был еще школьником. Значит, году в 71-м или 72-м. Где? Конечно, в «Иллюзионе». Наверняка, вместо того, чтобы в школу ехать – сразу рванул на Котельническую. Чтобы попасть на утренний сеанс. И посмотрел два фильма подряд. «Неверную жену» и какую-нибудь комедию... может быть «Розовую пантеру» с двумя другими тогдашними холодными красавицами – Кардинале и Капучине.

Красным карандашом, справа, почерком режиссера: Эпизод «Самоубийство Капучине» пропустить в целях экономии средств. Распоряжение дирекции. Пропустил.

Какая же это радость, окунуться в нездешнюю, чудную, заграничную жизнь! Побывать в Версале, покататься с Дэвидом Нивеном на лыжах в Кортине,

подышать воздухом Голливуда. За тридцать копеек! Высшее удовольствие, доступное молодому человеку, запертому в «социалистическом лагере».

Твои одноклассники сидят в душном классе... учат какую-нибудь идеологическую дребедень... настырный учитель долдонит... а ты, свободный как степной волк, бродишь по улицам родного города. А потом наблюдаешь на киноэкране интимную жизнь чудесных женщин и мужчин. Европейцев, американцев... небожителей. Слушаешь веселую музыку Манчини. И на все тебе наплевать... на школу, на аттестат, на МГУ, на ЦК КПСС, на прошлое и будущее...

Под ложечкой сосет предчувствие неизбежной катастрофы... и превращает просмотр развлекательного кино в незабываемый, почти сакральный момент... в счастье.

Послал из берлинского парка привет самому себе, в Москву начала семидесятых. Как же он был мне тогда нужен! Привет из другого мира. Из другой эпохи. Капелька надежды. Вытер слезу.

Режиссер удовлетворенно крикнул и крикнул: Снято!

...

После ланча продолжили.

Декорация – лес, аллея. Нарисованный небосвод.

В конце аллеи под искусственной сосной стояла женщина в высоких кожаных сапогах. Кто-то из массовки?

Режиссер заорал: Недоумение изобрази! Недоумение. И ностальгию. Но не переигрывай!

Подошел к ней, робко взглянул ей в лицо. Нежно пахло флоксами, кожей и хорошим табаком.

Легкое бежевое пальто... алая беретка... курит сигарету. Длинные ее перчатки испачканы фиолетовым пеплом. Загорелое скуластое лицо выражает презрение к окружающему миру, а прекрасные серые глаза смотрят на заснеженную землю.

Потом она взглянула на меня, и я услышал: Ты звал меня, я вернулась...

От волнения и предчувствия счастья я опять превратился в малахитовую колонну.

Вся съемочная группа заплодировала. Рабочие подтащили вентилятор и

коробку с тертым пенопластом.

Порыв ветра запылил нас снежным жемчугом...

Красавица исчезла, как будто ее и не было, а я так и остался в камне...

Я не мог двигаться, дышать, есть, говорить. Зато мог думать.

И думал, думал...

Вспоминал. Вся моя до- и после-эмигрантская жизнь представилась мне бесконечной чередой неприятных, мучительных дней и ночей. Под черным Солнцем и синей Луной (так нарисовал наш художник-декадент). Родным и близким существом была для меня теперь только она, пахнувшая флоксами женщина в беретке, похожая на молодую Стефан Одран.

Через несколько минут, часов или столетий я вышел из камня.

Вокруг меня ничего не было. Ни маяка, ни леса, ни съемочной площадки.

Только белесая мгла над океаном.

Какого черта? Где все?